

# Брешко-Брешковская Екатерина. Три анархиста: П. А. Кропоткин, Мост и Луиза Мишель

Источник: [здесь](#)

*«Задолго до осуществлений той или другой идеи, несущей в себе радикальные социальные изменения, задолго до ее воплощения в жизни, сперва смутно, потом все яснее формируется она в умах отдельных личностей и наконец выходит в свет в виде готовой теории.*

*Но и готовая теория, как бы она ни была хороша и стройна, долго остается в одиночестве и рассматривается человечеством как интересная игра ума, не имеющая в будущем практического применения.*

*Тем не менее каждая новая теория, если только она носит в себе зерно той правды, к которой волей-неволей тяготеет человечество, как бы далеко вперед она ни забежала, оставляет свой след в умах и вызывает их на создание теорий более приемлемого характера для данной эпохи...»*

*В сокращении.*

(Воспоминания)

## I

Задолго до осуществлений той или другой идеи, несущей в себе радикальные социальные изменения, задолго до ее воплощения в жизни, сперва смутно, потом все яснее формируется она в умах отдельных личностей и наконец выходит в свет в виде готовой теории.

Но и готовая теория, как бы она ни была хороша и стройна, долго остается в одиночестве и рассматривается человечеством как интересная игра ума, не имеющая в будущем практического применения.

Тем не менее каждая новая теория, если только она носит в себе зерно той правды, к которой волей-неволей тяготеет человечество, как бы далеко вперед она ни забегала, оставляет свой след в умах и вызывает их на создание теорий более приемлемого характера для данной эпохи.

Разве христианство не вызвало множества попыток провести это учение в жизнь, хотя бы и в менее совершенной форме? Что же касается «мирских» учений, не претендующих на божественное происхождение, – то среди них, быть может, ни одно не требует для воплощения своего такого нравственного, духовного совершенства, как учение анархистов. Оно и считается утопическим потому, что представляет себе человека уже готовым к жизни, управляемой только законами разума и совести, каждого члена общества.

Анархизм отрицает не только государство, но и законодательство. Он утверждает, что уже настало время расстаться с этими двумя «предрассудками», что люди уже не нуждаются в них и держатся они практически лишь в силу злой воли тех, кто извлекает из них личную для себя пользу, ограничивая волю большинства и подчиняя ее выгодным для себя условностям.

Эта, столь заманчивая по значению своему, теория остается тем не менее при самом небольшом числе последователей, среди которых большинство берет во внимание лишь те стороны анархического учения, в которых усматривает поощрение своему своеволию, отнюдь не способствующему водворению той общественной гармонии, какую имеет в виду само учение. Сами же учителя, сами творцы теории верят так сильно в возможность общежития, свободного от созданных людьми ограничений и условностей, что не могут мириться ни с какими другими, промежуточными, подготовительными перспективами общежитий. Они со снисходительным сожалением смотрят на тех, кто, при всей добросовестности своей, не могут согласиться с тем, что людские общества уже достаточно подготовлены к взаимоотношениям, полным взаимопонимания, уступчивости и благожелательства.

Кротко, любовно смотрят они на сомневающегося, всеми силами стараются передать ему полноту своей веры в учение, уже давно принявшее для них вид аксиомы, и огорченно удивляются тому, что честные и преданные люди, готовые на все самопожертвования, не могут проникнуться столь ясной, столь спасительной идеей.

Такое «непонимание» их святого святых, такое одиночество духовное является самой тяжелой драмой в жизни анархистов-идеалистов, живущих в воображении своем в условиях, созданных их теорией.

Но откуда же такая, можно сказать, наивность, откуда такое нераспознавание действительности, как будто ее игнорирование, умышленное от нее отчуждение?

Ведь теоретиками анархизма являются часто люди большой эрудиции, ученые мировой известности. Таковы были братья Реклю, таков был наш Кропоткин, не говоря о их предшественнике Прудоне.

Присматриваясь поближе к типам знакомых мне вождей анархизма, я нахожу, что <...> они переносили свое внутреннее самочувствие на весь остальной мир. Это были натуры исключительной чистоты, исключительной любви к человеку, жаждавшие видеть его счастливым. Приняв свою мечту, свое душевное состояние за мерило духовных способностей человека вообще, они щедрой рукой награждали его всеми свойствами собственной души и уже не придавали достаточного значения изучению его психики. Свои главные построения они создавали для общества людей тождественной с ними психологии. Одни поступали так потому, что слишком вдавались в свои труды и мало занимались интересами повседневной жизни толпы, другие потому, что жили в мире воображения своего, но были и такие, которых невыносимо горькая судьба заставила направить все честные силы свои на непримиримую вражду ко всему, что заслоняет солнце правды с корыстной целью оставлять во тьме все, кроме себя. Как раз три таких типа довелось мне узнать уже в зрелом возрасте, после долгих лет испытаний и всестороннего изучения натуры человека в разных его званиях и положениях.

## II

Мне было уже шестьдесят лет, когда я в первый раз попала за границу, в 1903 году, в мае. Пробыла я вне России ровно два года и впервые в жизни своей узнала лично или ближе ознакомилась со многими, кто в Самом начале семидесятых годов уже выступал в рядах боевой армии революционеров, как в России, так и за границей.

Были среди эмигрантов и однокашники мои по процессу и тюрьмам, были и такие, с которыми приходилось знакомиться совсем заново. Прошло четверть века, многое могло измениться. Но, к радости своей, я нашла, что наши семидесятники жили дружно между собою и что даже разница теорий, которые они исповедовали, ничуть не мешала им сохранять ту душевную близость и взаимное понимание, какие живут в чистых, искренних сердцах, бьющихся не для себя, а для избранного дела.

Сразу чувствовалась родная среда и простор в работе. Еще бы! Там были Леонид Эммануилович Шишко, Егор Егорович Лазарев (в Швейцарии), приехал из Лондона Николай Васильевич Чайковский. А сколько подросших, молодых, усвоивших заветы народничества, «Народной воли», видевших своего духовного вождя в болевшем душой за, Россию Николае Константиновиче Михайловском! Богатая опытом своих предшественников, сильная духом, расцветающая красотой окружавшей и пополнявшей ее молодежи – партия социалистов-революционеров и за границей работала вовсю, доставляя в Россию и обильный литературный материал в крестьянские и рабочие организации и отсылая туда подготовленных научно пропагандистов и специалистов по печатному делу и лиц, требовавших для себя боевой деятельности.

И старые, и молодые были одинаково охвачены жаждой скорейшего освобождения России от старого бесчеловечного и грязного режима, и все, что могло помочь успеху в борьбе с ним, и все, кто словом или значением своим мог оказать поддержку задачам революционеров в их схватке с сильнейшим врагом, – высматривалось тщательно, встречалось трепетно, ценилось как высшее благо. Хватались за каждую написанную книгу,

искали сотрудничества ученых сил, талантливых писателей.

Понятно, что партия эсеров с восторгом и с огорчением любовалась писательством Петра Алексеевича Кропоткина, признавая всю силу его и сознавая всю невозможность воспользоваться им.

Он анархист. Зачем он анархист? Такой же народник, как мы, эсеры, такой же революционер, как мы, и анархист!

А известный кружок молодежи, еще до моего приезда, издал на свой счет «Записки революционера» на русском языке и контрабандно пересылал их в Россию, где действительно они производили сильное впечатление – во всех слоях общества.

Петра горячо любили его старые товарищи, и они торопились послать меня в Лондон, чтобы повидаться с ним и другими тамошними русскими эмигрантами.

Им дали знать, что я еду, и они меня встретили и приютили у себя как родную. Радость увидеть старого товарища усиливалась еще тем, что я, отбывши свои долгие сроки в Сибири, уже успела поработать в России семь лет нелегально, изучив движение революционного роста в двадцати девяти губерниях, и могла сообщить много интересного тем, кто уже десятки лет, как Кропоткин, жили за границей.

И он был, видимо, доволен.

Но он также хотел делиться и своими заботами и скорбями, тем осадком недовольства, какой оставался у него на сердце от соприкосновений с партией социалистов-революционеров. Он, видимо, интересовался ее образованием и ее деятельностью, как ближайшей ему по духу, по его отношению к работе среди русского народа; несмотря на то, что в его размахе анархической перестройки программа ближайших достижений партии социалистов-революционеров являлась совсем ничтожной.

– Вы хлопчете только о том, чтобы земельки прибавили, и то, как вас преследуют, а ведь мы идем против всего, что стоит на дороге к полному освобождению человека от старых пут. К нам беспощадно относятся, нас не только боятся, нас ненавидят.

И Петр Алексеевич стал рассказывать, каким пыткам подвергали анархистов в Испании, при, недавних процессах, по случаю нескольких террористических покушений.

– А какие прекрасные молодые люди, как держали себя непреклонно... Ну, вот, скажи, разве добросовестно было со стороны вашей партии причислить себе в заслугу благороднейший, поступок юноши Балмашева? Молодой человек отдал себя в жертву всего, по собственному желанию идет и совершает геройский поступок, а посторонние люди берут этот поступок под свое знамя... Ведь этим вы умаляете значение личности.

Зачем это ему понадобилось? Ведь сам же он совершил покушение.

Надо было объяснить, с какими трудностями сопряжен каждый террористический акт при правительстве, уже напуганном подобными выступлениями революционеров, и что без участия, сил партии нет возможности достигнуть намеченной цели, – «партийная организация вгоняет в рамки чувства и действия людей, самую мысль их»...

– Ты знаешь, что сделала ваша молодежь с моей автобиографией? Она издала ее, правда, с моего разрешения, перевозила в Россию, там раскупали ее по высокой цене, давали по 25 рублей за книжку, а мне хоть бы один экземпляр прислали. Хорошо это?

– Очень даже нехорошо! – ответила я.

Но в извинение такого грубого поступка старалась уяснить ему, с какой горячностью, с какой самоотверженностью работала русская молодежь над революционным делом, над социалистической пропагандой. Увлекаясь этой деятельностью, она забывала свои личные интересы, она и чужие приспособляла к своей цели... Конечно, все это хорошо при условиях сохранения этических начал, положенных в основу учения и деятельности партии.

– Организация давит волю личности, это путы, связывающие все наши высшие способности...

– В каких же формах ты представляешь себе общежитие людей? Возьми хоть Россию!

– Русский народ меньше других нуждается в государственности. Он по природе своей анархист. Ни в правительстве, ни в какой бюрократии он не нуждается. Жизнь небольшими общинами – его вполне удовлетворяет.

– Ну, а как же поступать в вопросах, всем этим общинам одинаково необходимых: обороны от нападений врагов, сообщений по воде и по земле и множество других; каждая община может решать по-разному...

– А кто им мешает сговариваться, соглашаться, приглашать ученых для обсуждения вопросов? Общины соединяются в своих решениях в более крупные единицы, те идут дальше; приходят, наконец, к общему соглашению добровольно, без всякого принуждения.

– Это в будущем, вероятно, – а что же делать теперь?

Я пристально глядела в глаза Петра Алексеевича.

Он точно не ожидал такого оборота и как будто растерялся.

– Что ж, народ уже шевелится... стачки все чаще, даже крестьянские беспорядки, не надо только стесняться партийными, организациями. Зачем руководство, народ сам знает, что ему надо.

– Выходит, как будто интеллигенции там нет места?

– И интеллигенция должна быть там, – но каждый действует сам по себе и за себя отвечает.

Я плохо понимала. С одной стороны, безусловная вера в природу человека, в его способность черпать из себя непосредственно все лучшие импульсы разума и совести и поступать всегда справедливо при полном отсутствии ограничения его воли, с другой – как будто панический страх перед организацией тех же людей в ту или иную группу, принявшую на себя обязательства подчиниться заранее определенным требованиям. Если предположить, что соблазн властью, или другим каким преимуществом, носит в себе неотразимую силу по отношению к природе даже идейного человека, то трудноато рассчитывать на массовое совершенство людей.

И было грустно встретить такое противоречие в столь цельной душе.

Но в дальнейшей беседе нашей я нашла некоторое объяснение такому двойственному отношению к людской психике.

Началось с того, что я, видя, как ему трудно жевать пищу за обедом, как сильно он шепелявит при разговоре, спросила:

– Почему у тебя ни одного зуба не осталось?

– Это Лионская тюрьма так меня угостила, я там все время болел цингой, жизнь была тяжелая, все страдали... Но для меня она была особенно тяжела. Не столько физически, сколько нравственно было мучительно. Ты знаешь, к нам, анархистам, пристают как самые лучшие, так и самые худшие типы людей, и представь себе возможность сидеть в тюрьме, взаперти, в обществе негодяев. Нет ничего ужаснее... непрерывная пытка; Я чуть живой вышел из тюрьмы.

Глубоко вздохнула сидевшая с нами жена Петра Алексеевича Софья Григорьевна: «Совсем, совсем был близок к смерти; если бы не Лондонская академия – не остался бы Петр в живых; его освободили раньше срока».

Два года всего прожил в заключении этот мощный духом и телом человек, и каковы были его мучения, когда за короткое сравнительно время успели состарить его до неузнаваемости. Очевидно, что «самые худшие типы», величая себя анархистами, ничему и никому не подчиняясь и живя по воле исключительно своих страстей, умели так радикально отравить человека иного типа своим поведением, что по истечении многих лет он не мог вспомнить о днях, прожитых вместе, без содрогания. Отсюда, вероятно, та двойственность в отношении к природе человека, которая меня удивила.



В конце 1904 года заграничная организация отправила меня в Америку, для сбора средств на революционную борьбу. Приехали в Швейцарию два делегата, доложили, что русская колония эмигрантов в Нью-Йорке желает видеть у себя представителей партии соц.-револ. и готовит им сочувственную встречу. Меня отправили в сопровождении доктора Шидловского. Действительно, прием со стороны наших переселенцев был горячий, они делали все, что

могли, для успешных сборов, для наших личных удобств и для ознакомления нас со средой самих янки. Тогда же мне посчастливилось приобрести верных друзей на всю жизнь в лице лучших американок и американцев. Дружба их так и не перестает скрашивать жизнь мою. Окружавшие меня эмигранты-товарищи предложили мне повидаться с анархистом Мостом, тогда жившим в Нью-Йорке.

Вспомнила я, что, еще блуждая по сибирским дебрям, мне случилось читать в восьмидесятых годах о том, какой большой успех среди масс имел смелый, красноречивый анархист Мост, как преследовало его прусское правительство и как после многочисленных арестов и заключений изгнало из Германии, и Мост переселился в Соединенные Штаты.

В «Русских ведомостях» писались о нем яркие статьи, и в моем воображении являлся борец здоровый, сильный, с душой пламенной и жгучим словом.

И в Америке администрация его только терпела, а знакомство с ним считалось большинством не вполне разумным поступком, и товарищи, ввиду моего полуофициального пребывания в Новом Свете, устроили наше свидание незаметным для публики. Меня предупредили, что Мост значительно постарел и последние годы страдает алкоголизмом, что лишь в редкие дни отрезвления он снова появляется на трибуне и снова зажигает в сердцах слушателей и любовь к правде, и ненависть к ее врагам. Аудитория дрожит от восторга, негодует от возмущения.

Но что все реже становились часы ясного сознания, что у себя дома он почти всегда болен, и для того, чтобы застать его владеющим собою, надо идти к нему как можно раньше утром.

Так мы и сделали. Одна из его последовательниц повела меня к дому, где жил Мост, часов в 9 утра. Дорогой она говорила, как нуждается Мост, с каким трудом агенты его собирают для него средства к жизни и что только благодаря неутомимым заботам его самоотверженной жены он не терпит постоянной нужды. Говорила, что хотя последователей анархизма и не много, но что из любви к личности Моста они ежемесячно жертвуют известную сумму, чтобы дать ему возможность издавать маленькую газету.

Она была единственным содержанием духовной жизни человека, привыкшего к широкому общению с публикой; в ней еще звучал отголосок того мощного слова, что некогда поднимало настроение всех приниженных, пригнетенных тяжелыми бедствиями подневольной жизни.

Свидание мое с Мостом было недолгое, но оно оставило впечатление. Полубольной человек оживился, и видно, было, как много бурных чувств и мыслей спешило вырваться из его измученной души. Но мы плохо понимали друг друга: я еще совсем мало говорила по-английски и совсем отвыкла от немецкого.

Наше личное знакомство дало бы мне очень мало, если бы мне не удалось прочесть его автобиографию, написанную по-немецки просто, ясно, без всяких прикрас.

Признаюсь, я не могла ее дочитать, до того невыносимо болело мое сердце, переживая мартиролог бедняка рабочего, всю свою жизнь отдавшего служению правды, защите таких

же страдальцев тружеников, каким он был сам. Ребенок совсем бедной семьи в немецкой Швейцарии, он потерял мать в раннем детстве. Отец снова женился, и день его свадьбы был фатальный для восьмилетнего мальчугана. Пьяные гости напоили и его пьяным и только на другой день вытащили его из-под стола, больным, простудившимся на холодном полу.

Щека, на которой лежал ребенок, вздулась невероятно, боль охватила всю челюсть и виски, плохое лечение оставило мальчика на всю жизнь с раздутой половиной лица (что и меня поразило неприятно, когда я увидела Моста).

Отец-ремесленник рано отдал сына, нелюбимого мачехой, в ученье к другому ремесленнику, где хозяин грубо, безжалостно относился к мальчику, и голодный ребенок попытался вернуться домой, откуда мачеха его снова выжила.

В тяжелой работе, нужде и обидах прошла вся юность Моста, а когда, подросши, он работал по мастерским как специалист-рабочий – он стал протестовать против насилий и эксплуатации над собой и товарищами. Приходилось постоянно менять места заработка, и скоро он прослыл невыносимым человеком.

Он много думал, много читал, и дух борьбы рос в нем не по дням, а по часам.

Схватки с хозяевами приводили к столкновениям с администрацией, обращение к рабочим с горячими речами, а порой и воззваниями – к арестам и тюрьмам. Побывав во всех почти тюрьмах Швейцарии, – жизнь там стала невозможной, – Мост перебрался в Германию.

Уже опытный пропагандист-анархист и писатель, он сразу занял видное положение в рабочей среде, а потому и здесь короткие месяцы свободы чередовались с долгими годами тюрьмы. В общем он отсидел по разным местам заточения не меньше двадцати пяти лет.

И всегда без средств, без защиты, без помощи.

Поистине гранитный характер, подобный горам его родины. Чем сильнее становились преследования и мучения – тем жарче горел огонь, закалявший неустрашимую душу.

Ни одного светлого, ни одного счастливого дня для себя лично; ни одного стога, ни жалобы, вынося на себе ненависть и адскую злобу людской тирании.

Глубокое уважение, нежную любовь вызывала к себе жизнь этого мрачного телом, светлого духом героя.

Был еще раз случай встретиться с ним, и он искал этого случая, но посредствующие помешали состояться этой встрече так, как я этого желала.

Мост, измученный физически до мозга костей, душевно исстрадавшийся, развенчанный кумир толпы неблагодарной, умер в месяцы нашей революции пятого года.

Его нельзя забыть, его не надо забывать.

## IV

В марте 1905 года я заехала в Лондон, чтобы еще раз повидаться со своими товарищами-друзьями.

Надо было спешить в Россию, где разгорались события, предвещавшие давножданную революцию. Всегда нелегальная, я всегда была наготове встретить для себя наихудшее, и хотелось еще раз повидаться с теми, с кем связывало дорогое прошлое, полное веры и самоотверженности. Много и новых лиц, на достоинства которых смело можно было опереться, но старая гвардия формировалась в весенние дни, дни пробуждения русского общества, и на всю жизнь пропиталась ароматом чистой и нежной любви взаимной, взаимным пониманием и доверием.

Опять я приютилась в доме Чайковского, без устали работавшего и на семью свою и на партию, выполняя точно и успешно все ее поручения. С ним отправилась к Кропоткиным и все вместе к Серебряковым, где и состоялся наш семейный банкет. Говорили о российских событиях, так много обещавших. Петр Алексеевич очень хотел послать в Россию свою семнадцатилетнюю дочь Сашу, чтобы она узнала родину отца, чтобы была очевидицей усилий и борьбы, рождавших освобождение от ненавистного ига.

Он пытался взять в русском посольстве паспорт и разрешение въезда в Россию и получил отказ.

Маленький, интимный банкет не был оживленным.

Товарищи, очень давно оторванные от родины, ждали от меня определенного отношения к событиям и планов на ближайшее будущее, а я, как упряжной вол, знала всегда одно, а именно, что надо везти и непременно когда-нибудь довезешь до цели.

Уверенность в скором продвижении революции была безусловная, но когда оказывалось, что приходится еще ждать и ждать, я принимала неудачи как неизбежность и, ничуть не смущаясь, продолжала работу тем усерднее.

Высказывать свои взгляды и мнения на данные события не любила, зная, насколько, обыкновенно, желают услышать суждения непреложные, уверения категорические по отношению к событиям, их безошибочную оценку. А кто в состоянии это дать?

Опыт нас учит, что каждое отдельное событие зависит от множества привходящих условий, то неуловимых, то непредвиденных; и безусловно признавая правильность направления линии общего хода событий – надо всегда быть готовым к неожиданным и, временно, отрицательным результатам, как следствию случайных событий. Притом завзятый революционер так страстно дорожит каждым шагом вперед к цели, что ревниво оберегает его от выражений сомнений, недоверия. Лучше молчать и носить в сердце своем трепетную, горячую надежду, чем подвергать ее критике других, даже близких. И я замалчивала свои ожидания, хотела слышать мнение Петра Алексеевича, ждала его совета, указания. Напрасно. Он садился рядом со мною, говорил: «Ну, как ты думаешь, сумеет ли ваша партия

воспользоваться таким большим подъемом духа всего населения, таким бессмысленным поведением правительства?»

– Партия наша мала по отношению к пространству России, к численности ее населения. Конечно, она будет напрягать все силы свои. Ну, а ты как думаешь, Петр, как лучше теперь действовать? С кем надо работать?

– Как тебе сказать... должны бы работать все слои общественные, ведь все заинтересованы. Нужна солидарность...

Он развел руками и кротко смотрел в глаза.

– Что должно бы быть – того нет, Петр, все работают на свой лад каждый, ты вот скажи, как бы ты поступал там на месте.

– Видишь, ваши организации стесняют вас самих, и особенно стесняют крестьян и рабочих. Они ждут указаний от комитетов, им не дают свободы действий.

Было очень больно и еще сильнее нетерпелось в Россию, на поле битвы. Там виднее будет.

Перед отъездом была еще раз у Кропоткиных, и захотелось мне посмотреть его святилище, кабинет, где он столько лет работал, где излил перед человечеством свою прекрасную душу, свой благородный ум, всегда устремленный к возможности братского международного счастья.

Мы поднялись по узенькой крутой лесенке без перил, ступили на крошечную площадку, а с нее вошли в светелку под самой крышей, напоминавшую келью отшельника, отдавшего науке.

По стенкам полки, нагруженные книгами; книги, бумага на столе из белых досок, а перед ним соломенное кресло: с правой стороны черная доска на треножнике, и на ней мелом нарисовано очертание озера.

– Это, видишь ли, озеро в восточной Монголии, завтра буду делать доклад в Географическом обществе о происхождении водных бассейнов в северо-восточной Азии. Придется и там рисовать...

Постояли, поговорили, сидеть было не на чем и негде, все кругом было завалено книгами. Выходя, я заметила дверку на площадке и сунулась туда. Чуланчик был заполнен сверху донизу изданиями разных брошюр, написанных Петром Алексеевичем, в том виде, как вышли из-под печатных и брошюровальных станков. Были последних годов, были и ранних. Глаза мои разбежались, и я с укором спросила: «Зачем же ты у себя оставляешь, зачем не отправляешь в Россию?»

– Это не так легко, как ты думаешь. Приходится ждать okazji, а они редки, и берут понемногу...

Когда мы спустились вниз, Софья Григорьевна сказала:

– Надо бы с вами посетить Луизу Мишель, она живет на окраине Лондона. Часто прихварывает. Она будет рада вашему посещению.

И мы решили ехать немедленно. Ехали на земле, ехали под землей, на машинах и на лошадях. Дорогой Софья Григорьевна говорила:

– Очень постарела Луиза, а все такая же энтузиастка, какой была. Она теперь не одна живет. Ведь ей запрещен въезд во Францию, без особого разрешения она не может туда показаться. Но здесь с ней поселилась одна французская работница с братом-работником, им поручено оберегать здоровье и маленькое хозяйство Луизы. Может быть, они недостаточно добросовестно относятся к ее интересам, но она такая любящая и снисходительная душа, что не может не верить в тех, кто близок к ней. Средства собираются друзьями Луизы, но в очень скромных размерах. Анархисты все люди бедные. Луиза очень любит животных, в ее комнате помещаются собаки, кошки, птицы, и все ее знают и только ее одну да ее компаньонку слушают, а посторонних в комнату не впускают, прямо звери. У нее к ним слабость, надо же и ей чем-нибудь забавиться. Вся жизнь сплошное лишение. О, если бы только лишения. Сколько обид, клевет, надругательства она претерпела. Это святая женщина.

## V

Перед домом, где жила Луиза Мишель, расстилалась зеленая, ярко-зеленая лужайка, и воздух был чистый, загородный. Много света, далекие пространства и тишина полная, миролюбивая. Небольшой, но все-таки многоэтажный дом был облит ярким солнцем, такая редкость в Лондоне.

Нам скоро отворила дверь девушка-француженка и побежала наверх позвать Луизу.

Приемная комната была побольше кропоткинской, и в ней стоял рояль и мягкая мебель. С благоговением ожидала я встречи с героиней Коммуны 1871 года.

Она вышла к нам, небольшая седая старушка, вся светлая, лучезарная. Ни следа на ней пройденных мук, пережитых за себя и за близких, потерь безвозвратных, непрерывающихся гонений. Меня она приняла как бы давнишнего знакомого, мы думали и говорили на одном языке, но мне хотелось слышать от нее самой о том, как она провела свою каторгу во французской Кайэне.

– Меня совсем мало мучили, – начала Луиза Мишель полушутя, – но вот моих товарищей... – она остановилась на минуту, лицо покрылось страдальческой тенью, голос задрожал. – Да, их мучили и их приходилось там хоронить. Всегда в цепях, всегда на тяжелой работе, без теплой пищи, без теплой одежды и в холод, и в дождь. Они страдали, но умирали коммунарами, какими сражались на баррикадах. О, они остались героями... А мне не так страшно жилось. Под конец я даже могла давать уроки и жила сносно. Если бы всем им так

жились, они были бы живы.

- Где вы потеряли жениха своего, Луиза?

- Еще на баррикадах. Мы рядом сражались, а когда он пал мертвым, я продолжала бороться и за него.

Ласковые глаза Луизы заблестели ярким огнем. Она встала, быстро повернулась к роялю...

- Хотите, я спою «Марсельезу».

- Очень хочу, спойте, спойте.

Слабым голосом, но отчеканивая каждое слово, пела Луиза Мишель куплет за куплетом.

Мы слушали едва дыша, так не хотелось проронить ни слова, ни звука ни от ее голоса, ни от ее аккомпанемента, подчеркивавшего аккордами особенно яркие слова.

Было глубоко трогательно и было изящно красиво.

Кончила, улыбнулась и как будто стряхнула с себя облако тяжелой грусти, опять стала ясная, лучезарная.

- Я ведь не одна живу, кроме Мари у меня есть большое семейство, там наверху. Мари, покажите нам самых интересных членов семьи.

- О, да, я своих красавцев покажу, таких редко где можно видеть.

Высокая, здоровая девушка, видимо, сознававшая себя вполне равноправной хозяйкой, поднялась наверх и скоро спустилась не одна, а с двумя котами, под каждой мышкой по зверю. Глаза их горели, как свечи, темная пятнистая шерсть поднялась дыбом, и только хвосты не обнаруживали гнева, потому что их совсем не было.

- Это бесхвостая порода кошек с острова Уайта, - пояснила Мари. - Они у нас дикие, не выносят чужих, бросаются на человека, бьются в окна.

Я с ужасом смотрела на больших котов, уже терявших терпенье под давлением сильных рук Марии, и просила ее держать их крепче и, еще лучше, унести их.

И сейчас не могу вспомнить о них без неприязни.

Но Мария только рассмеялась и отправилась наверх за другими членами семьи. Минуты через две она спустилась вдвоем. Перед собой, держа за передние лапы, она вела огромного пса ярко-красной шерсти, волнистой и нежной, как шелк.

Кроме сверкающих глаз, собака показывала белые острые зубы и вся дрожала от злости.

Я умоляюще смотрела на Луизу Мишель и сама готова была дрожать от страха.

- Довольно, - шептала я, - довольно. Мария, пожалуйста, довольно.

Мария опять засмеялась и повела своего дикого красавца обратно в зверинец.

А весь зверинец, и звери и птицы, жили в одной комнате с Луизой и спали с ней на кровати. Я едва верила ушам своим. Спать на одной кровати с таким зверем, сколько мужества надо.

- О, нет, - говорила Луиза, - никакого мужества, надо только их любить. Животные чрезвычайно чутки к добру, не меньше людей. И если бы не предубеждения, не предрассудки, какими начинают с детства, не было бы ни вражды, ни злобы. - Луиза стала рассказывать на эту тему о пережитых ею случаях.

«Лет десять тому назад я была в Бельгии и там выступала в небольших собраниях. Духовенство, конечно, писало и говорило против меня; изображало безбожной злодейкой.

Не знавшие меня люди - а знали меня очень немногие - верили всем клеветам и относились ко мне враждебно.

Раз, когда я в наемной карете ехала из одного города в другой, на дороге встретилось несколько человек студентов. Они знали, что это я еду, и один швырнул камень в окно, разбил его и стал ругаться.

Извозчик завопил, а я попросила его остановиться и подозвала студента к окну. „За что вы так поступили со мной и с моим кучером? Меня вы оскорбили, а ему причинили убыток“.

- За то, что вы безбожница и террористка.

- Молодой человек, вы это только слышали, но вы этого не знаете и уже позволяете себе оскорблять женщину, старую и одинокую. Разве так поступают те, у кого есть Бог и кто знает заповедь его любить ближнего как самого себя. И причем же тут стекла кареты, за которые придется платить бедному человеку.

Эффект вышел неожиданный.

Студент стал просить извинения, сконфуженный, полный раскаяния, а кучеру уплатил за стекла, сколько тот пожелал. О да, люди любят правду и тех, кто ее говорит не сердясь. Я много раз испытала это и во Франции и в Кайэне.

Ведь нас Преследует не народ, а его правители, его духовенство, учителя.

Мне запрещен въезд во Францию, надо каждый раз усиленно хлопотать о разрешении побывать на юге.

Там у меня близкие люди, хочется повидаться, еще раз посмотреть милую родину».

Говоря о Франции, она опять просияла и еще больше напоминала добрую фею, готовую обласкать весь мир.

Это было единственное мое свидание с Луизой Мишель, и не больше двух часов мы провели вместе, но я много благодарна Софье Григорьевне Кропоткиной за то, что она дала мне возможность воспринять живой образ души, умевшей пронести через все мучительные испытания силу веры и свежесть чувств своих до последнего дня, до последнего вздоха на земле. На прощанье она подарила мне портрет свой, прекрасно отражавший ее благородное лицо, выражавшее мудрость без претензии и доброту без сентиментальности.

Ведь она признавала активную борьбу со злом и сама поднимала на него руку.

Вскоре по возвращении моем в Россию я прочла в газетах известие о ее смерти.

## VI

В марте 1917 года уже многие эмигранты вернулись в Россию.

Кажется, в начале апреля и я уже проехала свой путь от Минусинска до Петрограда, где меня так дружелюбно и ласково встретил Александр Федорович Керенский, уже обремененный громкой ответственностью, но всегда ровный, всегда справедливый, беспристрастный к недругам и к друзьям.

Живя в Сибири, я знала о его деятельности как присяжного поверенного, всегда летевшего на защиту погранных прав рабочего народа, в каком бы конце бесконечного и несправедливого государства нашего ни повторялись безобразия и жестокости, чинимые царской администрацией.

Следила за его речами в Думе с большим интересом, а когда он приезжал на Лену, чтобы разобраться в причинах расстрела двухсот рабочих на золотых приисках, и затем возвращался в Россию – он проездом навестил меня в Киренске. Виделись мы недолго, но дружба наша закрепилась навсегда.

И я с благодарностью и с гордостью вспоминаю его всегдашнюю обо мне заботу.

В Петрограде он поселил меня в своей квартире, и мы вместе ожидали прибытия на родину то одного, то другого изгнанника, а между ними особенно тепло Петра Алексеевича Кропоткина, сорок лет не видавшего России, не перестававшего всегда любить ее, всегда тянуться к ней, как к родной матери.

Керенский встречал лично всех возвращавшихся борцов. В них он видел новые силы, готовые и впредь служить своему народу, готовые отдаться его возрождению так же искренно, бескорыстно, как сам это делал.

Но в Петре Алексеевиче мы ждали патриарха революции, прошедшего опыты европейских народов, и в бескорыстии его преданности уже, конечно, никто не мог сомневаться.

Все слои общественные одинаково доверчиво, с одинаковым почтением относились к князю-анархисту, никогда не склонявшему своей совести ни перед сильными мира, ни перед

соблазнами его. !

При встрече его я не была, потому что в то время отлучилась в южные губернии, а когда вернулась в Питер – Петр Алексеевич жил на Каменном Острове, на даче, предложенной ему кем-то из его почитателей.

Многие ездили к нему на поклон, многие ждали услышать от него мудрое слово совета; отправилась и я к нему с благоговением в сердце.

И действительно, ничего нет и прекраснее и отраднее, как увидеть человека, пред концом его скитальческой жизни могущего воскликнуть: «Видели очи мои спасение мое, и ныне отпускаеши раба твоего с миром».

Ибо – что бы ни случилось с Россией нашей за последующие годы – революция февраля 1917 года навсегда застраховала ее от возврата к темному прошлому.

И уже одно то, что страшный враг царского престижа, непримиримый анархист Кропоткин торжественно занял свое место среди народа своего, явилось тем историческим пограничным камнем, который бесповоротно отмежевал прогнившие века от новой эры будущего строительства.

Хорошо было въехать в обширный двор светлых зеленых газонов и клумб ярко-красных цветов.

Весело было входить в чистый просторный дом, окруженный сенью высоких, густых деревьев, каменноостровских парков.

Еще лучше было крепко обнять старика, как магнит тянувшего к себе все сердца, все умы различных, часто противоположных направлений.

И он выходил из глубины своего кабинета, светлый и ласковый, усаживался рядом и после взаимных поздравлений и радостных восклицаний пристально смотрел в глаза и спрашивал: «Ну, что?»...

Первый мой проезд к Кропоткину на дачу мы провели в общей беседе, в радостном настроении от свидания в России, от сознания, что великая родина наша вышла решительно из мрака затхлого прошлого и обернулась лицом к новой жизни.

К моей радости, с первого же момента революции, примешивалось чувство осторожности и выжидания. Мне была известна неопытность нашего народа в делах политических, и его спокойствие и благоразумие первых месяцев не исключало для меня возможности бурных проявлений нетерпения и недоверия. Понимала я также, что притихшие наружно поработители свобод и прав этого народа ждут удобного часа, чтобы поднять свой голос и руку свою на массы, оживающие от долгого сна. И на душе не было ни спокойно, ни ясно. А Петр Алексеевич еще только разбирался, осматривался и больше расспрашивал, чем говорил. Расстались мы бодро, сомнений не высказывали, наоборот, говорили с уверенностью о предстоящих работах во всероссийском масштабе и дивились необъятности

предстоящей задачи для тех, кто всеми силами способствовал пробуждению народного сознания и видел в революции не цель, а средство к осуществлению условий, так много раз повторённых Временным правительством в первые же дни революции 1917 года, марта 1-го. Да, первые дни этой революции и по содержанию своему, и по форме представили миру еще никогда не виданное явление, когда во всей массе бесчисленного народа обнаружилась одновременно и повсеместно солидарность чувства и разума. И если это явление в его стихийном виде не могло противостоять натиску влияний умышленных искажений, с одной стороны, и жадным усилиям вернуть старые нормы жизни – с другой, можно с уверенностью сказать, что оставленная в покое массовая психология удержала бы за собой значительную долю своего благоразумия и своей исконной тенденции к жизни, основанной на началах справедливости. Увы, уже летом семнадцатого года явственно сказались обе враждебные силы и справа и слева, и растущее в народе недоверие к своим собственным, несомненным завоеваниям. Учащающиеся недоразумения и недовольства уже таили в себе признак того, что осуществление народных чаяний пойдет извилистыми путями и с большими преткновениями. Легко понять тревогу, что наполняла сердца тех, кто уже приветствовал в руках своих новорожденное спасение родины и теперь с трепетом ожидал роста божественного младенца. Ни днем, ни ночью не покидала тревога за дальнейшую участь его.

И неудивительно, что, теряясь в загадках беспримерных условий жизни, охвативших целую четверть мира, и сознавая себя действующим зрителем этих сложных условий, люди, привыкшие к ответственному служению человечеству, искали уяснений и подкреплений, где только могли. Близкие, живущие вместе, знали взгляды и требования друг друга. Не всегда соглашаясь, нередко исходя из разных точек зрения – кто из государственной, т. е. принимая во внимание весь комплекс сложного и запутанного наследия, оставленного нам веками; кто становясь на точку зрения основ массовой психологии, имевшей также позади себя всю прошлую историю русского народа. Трудно было прийти к полному соглашению, так как много зависело от того, в какой среде, в какой сфере деятельности прошла жизнь того и другого.

Мы, жившие всегда в России, хорошо знали обоюдные взгляды и мысли, но вот приехал свежий человек, беспристрастный философ-созерцатель, пусть он скажет свое слово, подаст мнение, соображение, критику.

И в начале июля, вероятно, я снова паломничаю на Каменно-островский и через ярко цветущий двор бегу в знакомую полумрачную приемную.

Все тот же ласковый прием, тот же шепот беззубого рта и ясные вопрошающие глаза.

– Ну что, как? Все партийные трения – это чистое несчастье. Ты ездила недавно... Расскажи, как в провинции, что говорят крестьяне, рабочие... Ты подожди, я позову Софью Григорьевну и мужа Саши... им тоже хочется послушать.

Вечно нелегальная, привыкшая к осторожности, я почувствовала нарушение той серьезности, какую сама придавала предстоящей беседе, и моя надежда допытаться взглядов и чаяний самого Петра Алексеевича сразу поблекла, охладела. Было очевидно, что

он еще не пришел к определенным выводам, сам еще присматривался к событиям и не мог не заметить необычайной сложности момента. Давнишнее недовольство народных масс, затяжная безумная война, повсеместное обнищание, наследие позорного поведения ушедшего правительства и всей бюрократии, закипающий революционный котел и целый рой песьих мух, в виде большевиков, подливающих масло в огонь, – все это создало клубок безвыходных затруднений, неустрашимых никаким решительным мечом. Анархическое состояние страны было не за горами, но и ничего хорошего оно не предвещало.

Кропоткин прекрасно понимал это, но противоядия наступающей болезни, как и все мы, не имел и, очевидно, избегал сказать это громко. Я оставила его, и на этот раз ничем не пополнив бездну своих жестоких опасений.

Россия кружилась с невероятной быстротой. Время было упущено, и уже не предвиделось возможности приостановить всеобъемлющий напор, не уступив сразу, тут же, главному требованию крестьянской России – передачи всей земли в ведение земледельческого населения, не дожидаясь постановления Учредительного собрания.

Слишком много голосов в «сферах» противилось такому постановлению. Старые эгоистические привычки преодолевали расчеты разума. Моральная близорукость мешала рассмотреть грозную действительность, имущие классы точно сами стремились вогнуть народные нетерпеливые массы в состояние недоверия, озлобления, мстительности.

Я родилась в деревне, в ней провела всю юность свою, из 75 лет прожила пятьдесят лет исключительно среди крестьян, рабочих, солдат, арестантов, ссыльных, сектантов, нищих, бродяг и опять крестьян и т. д. и знала их простую, несложную, но устойчивую психологию, устойчивую в своих требованиях справедливого к себе отношения; знала также, в чем должна выразиться справедливость этих отношений. Знала и то, что терпение масс на исходе и что каждый день замедления укрепляет подозрительность и недоверие растет.

И я все более убеждалась в том, что интеллигенция, живущая вне близкого соприкосновения с крестьянами и рабочими, не проникшая в их симпатии и верования, совсем не знает сущности души простого народа, совсем не улавливает тех изменений в народном мирозерцании, какое мне пришлось наблюдать и изучать за полвека, за всю жизнь мою, даже включая детство.

«Государственные» люди уверены, что они все лучше знают. Это огромная ошибка. Среди простого народа есть те же государственные головы, т. е. умы, понимающие, насколько необходимо всегда иметь в виду благосостояние всей страны, всего народа; и в то же время обладающие несомненным знанием психологии своего народа. С ними надо говорить, их привлекать к ответственной широкой работе.

Все эти мысли и тогда высказывались и передавались, но они и до сей поры вызывают снисходительные улыбки, и мы видим, как люди, мнящие себя рожденными для власти и порабощения чужой воли, и сейчас смотрят на чернь, на рабочую силу, как на подмостки своего будущего величия. Даже после урока, данного им четырехлетним анархотеррористическим режимом на протяжении всего Российского государства.

## VII

Снова ездила по России, звали то в ту, то в другую губернию по делу выборов в Учредительное собрание, и за эту поездку я насмотрелась на приемы большевистских агентов, не только демагогические, но и безгранично нахальные. Вот тут я испытала свое бессилие. Меня, привычную к правдивому, честному отношению к народу, ошеломляла ложь, подтасовка, наглая лесть и самая грязная инсинуация, с какой подосланные, платные «ораторы» высказывали на всех собраниях и «переманивали» одураченных слушателей на свою сторону.

Но и та часть публики, что улавливала фальшь и корысть в речах псевдозащитников классовой борьбы и ее моментального применения, и та часть вдумчивых крестьян и солдат сидела, печально понурив головы, предчувствуя недобрые результаты подобного экстаза, и треска, и стука в открытую дверь. Ведь все было в руках народа: и земля и свобода, не было только терпения и твердости, чтобы удержать их за собой. Доверия не было, и откуда было ему взяться.

С тяжелым сердцем возвращалась я в Петроград, а за несколько часов до выезда я уже знала о взятии Зимнего дворца и последствиях. Хотелось узнать подробно об участии оставшихся там, и благодаря сообразительности сопровождавшего меня холодного грузина-офицера я благополучно пробралась в город и прожила там около двух месяцев; зная, что большевики меня ищут, я потому была весьма осторожна. В декабре я переехала в Москву, благодаря Н. В. Чайковскому – тоже благополучно, и поселилась в уютом доме, где жила моя старая соратница, С. А. Иванова. Скоро я узнала, что недалеко от нас поселился Петр Алексеевич, тоже покинувший Питер, и что его пока что оставили в покое.

Но идти к нему я не решалась, чтобы не навлечь слезку, и только дала знать о месте своего жительства. Это было уже к концу зимы, и он вместе с Софьей Григорьевной пришел навестить меня. Ему трудно было ходить, особенно в теплой одежде: одышка мучила его, сердце постоянно грозило припадком.

Встретились мы радостно, точно только что выпущенные из тюрьмы, и стали осведомляться, что делаем. И в Питере и в Москве я продолжала писать в газетах за своей подписью, писала и воспоминания свои. Петр Алексеевич собирался выпускать отдельными листками изложение своих взглядов на предстоящий федеративный строй Российского государства. Он говорил, что есть у него сотрудники, что издательство налажено и скоро должно появиться в свет. Я радовалась тому, что вот раздастся голос, который обратит на себя внимание молодежи и направит умы на обсуждение вопросов широкого масштаба, а главное, заставит молодежь, – тогда так жадно бросившуюся на применение анархического учения наизнанку, – обратиться к первоисточнику этого учения и получить от него правильное толкование искаженной теории. Разговор на эту тему затянулся, и восстановился пред нами живо, ярко предательский переворот в октябре 1917 года и последовавший за ним позорный Брест-Литовский мир.

Мы глубоко вглядывались друг в друга.

– И как хватило сил пережить все это. Как хватило – не знаю. Ведь я задыхался... задыхался,  
– Петр Алексеевич понизил голос. – Знаешь ли, была минута, когда я вынул револьвер из  
стола и положил возле себя... так было невыносимо жить. Только страх подать пример  
малодушия остановил меня...

Я ужаснулась, но и вполне поняла его. Все мы проводим кошмарные дни и ночи, и то, что  
переживалось в душе под ударами, постигшими нашу чудесную, прекраснейшую в истории  
человечества революцию, – не может быть превзойдено никакими мучениями.

Побеседовали мы, Софья Григорьевна угостила нас чаем, и, когда расстались, Кропоткины  
согласились с тем, что лучше мне к ним не заходить, а они еще наведаются, как только  
будет ясный солнечный день.

Несмотря на мое затворничество, ко мне приходило немало друзей, знакомых и вновь  
представляемых интересных лиц. Пришел ко мне и Артур Булард, шеф Американского  
информационного бюро в Москве. Я с ним подружилась в мой первый приезд в Америку,  
потом переписывалась из ссылки; посетил он меня в Петрограде и теперь, узнав мой адрес  
от зятя Кропоткиных, служившего переводчиком в миссии, – захотел повидаться. От него я  
узнала, что американский посол м-р Фрэнсис в Москве, что ведет переговоры с  
большевиками, но что определенных взглядов и решений не высказывает. Мне показалось,  
что и сам Булард либо не имеет еще определенных отношений, к большевистскому  
воцарению в России, либо питает склонность считать его скорее благотворным для России,  
чем вредным. Во всяком случае, эта встреча навела меня на мысль изложить положение  
вещей в России в его настоящем виде и подать это изложение на рассмотрение м-ру  
Фрэнсису. Записка моя была готова, когда ко мне снова зашли Кропоткины, в квартиру С. А.  
Ивановой. Это было в марте или апреле 1918 года, когда московские распорядители  
переселили Петра Алексеевича уже на третью квартиру.

Он прослушал мое обращение к Фрэнсису и одобрил его. Тут же я сказала Петру  
Алексеевичу, что с нетерпением жду появления его листков.

– А я передумал. Вместо листков хочу издавать книгами. Можно гораздо глубже и цельнее  
изложить теорию федеративного начала в международном строительстве. И мои  
сотрудники с этим согласны.

– Долго ждать придется, а время горячее. В листках ты бы мог высказываться и по текущим  
вопросам о жизни в России.

– Это так, но тогда потеряет свою стройность изложение главной мысли; а ведь именно ее я  
хочу уяснить, запечатлеть в умах...

Какая мысль, почему такое исключительное значение придавал ей Петр Алексеевич, я так и  
не уразумела. Еще раз я видела, как далеко ушел от нашей суетной повседневной жизни  
мощный ум Кропоткина-анархиста и как тщетно вовлекать его мысли в сторону  
повседневной злобы. Он жил на много лет впереди.

Это было последнее наше свидание. И никого из Кропоткиных не видала с тех пор, как они перебрались в дом Трубецких на Новинском бульваре. Но каждый раз, когда проходила мимо, я жадными глазами всматривалась во двор и в окна барского дома оригинальной архитектуры. А ходила я по Новинскому бульвару в апреле, мае и в начале июня к Архиерейским прудам, где вблизи жил – так же нелегально, как я, но с несравненно большим риском – Александр Федорович Керенский, приехавший в Москву по своему неперемому желанию и выехавший оттуда за границу по настоянию друзей и товарищей в том же июле 1918 года.

Раза два и он посетил меня в моем тайнике и вообще позволял себе ходить открыто по улицам. Раз даже собирался отправиться в собрание соц.-револ. по случаю партийного съезда, когда явились предупредить, что на заседание явилась полиция, все переписаны и кое-кто арестован. Еще раз случай спас его от неминуемой гибели. Он оставил Москву в июне, я выехала на Урал 1 июля. У него были надежные провожатые в лице сербских офицеров, давших ему возможность благополучно добраться до английского флота на Ледовитом океане; у меня был надежный молодой товарищ, еще по ссылке на Лене, который, рискуя своей головой, провез меня через все мытарства фронтов до Омска, откуда уже можно было свободно двигаться по всей Сибири и до Самары.

Из Москвы получались редкие вести. Передавали, что Петр Алексеевич переселился в Дмитров. Я поняла, что это признак невыносимости жизни в Москве, под покровительством большевистского надзора. Поняла и то, что даже при всей самоотверженности жены его Софьи Григорьевны, не щадившей своих сил в деле ухода за любимым человеком, несмотря на все ее связи, невозможно создать сколько-нибудь удовлетворительные условия жизни тому, кто всю свою жизнь отдал человечеству, – злое дыхание уродливой, заразной силы возьмет еще верх, ибо не вынесет рядом с собою присутствия совести, не знавшей ни компромиссов, ни уклонений, ни сомнений в правах каждого человека на жизнь свободную, честную.

Светлая душа Кропоткина остается с нами. Его труды, проникнутые верой в человека и любовью к нему, будут воспитывать в духе правды-справедливости наши молодые поколения. Могила, где покоится его прах, явится сборным местом для всех, чтобы также глубоко прочувствовать смысл жизни человека, как это чувствовал, понимал и олицетворял сам он, Петр Алексеевич Кропоткин.

*13 марта 1921 г.*

*Париж.*

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 5 июля 2025 02:56:49

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 5 июля 2025 03:00:55